

Борис  
САВИНКОВ



ВОСПОМИНАНИЕ  
ТЕРРОРИСТА

Борис Ропшин  
**Конь бледный**

«Public Domain»

1909

## **Ропшин Б. В.**

Конь бледный / Б. В. Ропшин — «Public Domain», 1909

...Борис Савинков. Яркая личность. Блестящий экспрессивный писатель. Один из лидеров партии эсеров, придерживающийся `ультралевых`, радикальных убеждений. Яростный противник большевиков и большевизма. Видный теоретик `метода индивидуального террора`, руководитель шпионско-диверсионной антисоветской группы в Париже. Арестован в 1924 г. во время нелегального перехода границы. Покончил с собой 7 мая 1925 г. Произведение входит в авторский сборник «Воспоминания террориста».

© Ропшин Б. В., 1909

© Public Domain, 1909

# Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

## В. Ропшин

# Конь бледный

*«...и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть;  
и ад следовал за ним...»*

*Откр. VI, 8.*

*«...кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во  
тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему  
глаза».*

*I. Иоан. II, 11.*

## I

*6 марта.*

Вчера вечером я приехал в N. Он все тот же. Горят кресты на церквах, визжат по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, в монастыре звонят к обедне. Я люблю этот город. Он мне родной.

У меня паспорт с красной печатью английского короля и с подписью лорда Ландсдоуна. В нем сказано, что я, великобританский подданный Джордж О'Бриен, отправляюсь в путешествие по Турции и России. В русских участках ставят штемпель: «турист».

В гостинице все знакомо до скуки: швейцар в синей поддевке, золоченые зеркала, ковры. В моем номере потертый диван, пыльные занавески. Под столом три кило динамита. Я привез их с собой из-за границы. Динамит сильно пахнет аптекой, и у меня по ночам болит голова.

Я сегодня пойду по городу. На бульваре темно, мелкий снег. Где-то поют куранты. Я один, ни души. Передо мною мирная жизнь, забытые люди. А в сердце святые слова:

Я дам тебе звезду утреннюю.

*8 марта.*

У Эрны голубые глаза и тяжелые косы. Она робко жметесь ко мне и говорит:

– Ведь ты меня любишь немножко?

Когда-то давно она отдалась мне, как королева: не требуя ничего и ни на что не надеясь. А теперь, как нищенка, просит любви. Я смотрю в окно на белую площадь.

Я говорю:

– Посмотри, какой нетронутый снег.

Она опускает голову и молчит.

Тогда я говорю:

– Я вчера был за городом. Там снег еще чище. Он розовый. И синие тени берез.

Я читаю в ее глазах: «Ты был без меня».

– Послушай, – говорю я опять, – ты была когда-нибудь в русской деревне?

Она отвечает:

– Нет.

– Ну так ранней весной, когда на полях уже зеленеет трава и в лесу зацветает подснежник, по оврагам лежит еще снег. И странно: белый снег и белый цветок. Ты не видала? Нет? Ты не поняла? Нет?

Она шепчет:

– Нет.

А я думаю о Елене.

*9 марта.*

Губернатор живет в старинном доме. Кругом шпионы и часовые. Двойная ограда.

Нас немного: пять человек. Федор, Ваня и Генрих – извозчики. Они непрерывно следят за ним и сообщают мне свои наблюдения. Эрна – химик. Она приготовит снаряды.

У себя за столом я по плану черчу пути. Я пытаюсь воскресить его жизнь. В залах его дома мы вместе встречаем гостей. Вместе гуляем в саду, за решеткой. Вместе прячемся по ночам. Вместе молимся Богу.

Я его видел сегодня. Я ждал его на улице. Долго бродил по замерзшему тротуару. Падал вечер, был сильный мороз. Я уже потерял надежду. Вдруг на углу пристав махнул перчаткой. Городовые вытянулись во фронт, сыщики заматались. Улица замерла.

Мимо мчалась карета. Черные кони. Кучер с рыжею бородою. Ручка дверец изгибом, желтые спицы колес. Следом – сани.

В быстром беге я едва различил его. Он не увидел меня: я был для него улицей.

Счастливым, медленно я вернулся домой.

*10 марта.*

Когда я думаю о нем, у меня нет ни ненависти, ни злобы. У меня нет и жалости. Я равнодушен к нему. Но хочу его смерти. Я верю, что сила ломит солому, не верю в слова. Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы.

Говорят, нельзя убивать. Говорят еще, что одного можно убить, а другого нельзя. Всячески говорят.

Я не знаю, почему нельзя убивать. И не пойму никогда, почему убить во имя вот этого – хорошо, а во имя вот того-то – дурно.

Помню, я был в первый раз на охоте. Краснели поля гречихи, падала паутина, молчал лес. Я стоял на опушке у изрытой дождем дороги. Иногда шептали березы, пролетали желтые листья. Я ждал.

Вдруг непривычно колыхнулась трава. Маленьким серым комочком из кустов выбежал заяц и осторожно присел на задние лапки. Озирался кругом. Я, дрожа, поднял ружье. По лесу прокатилось эхо, синий дым растаял между берез. На залитой кровью, побуревшей траве бился раненый заяц. Он кричал, как ребенок плачет. Мне стало жалко его. Я выстрелил еще раз. Он умолк.

Дома я сейчас же забыл о нем. Будто он никогда и не жил, будто не я отнял у него самое ценное – жизнь. И я спрашиваю себя: почему мне было больно, когда он кричал? Почему мне не было больно, что я для забавы убил его?

*11 марта.*

Федор – бывший рабочий. Он в синем халате, в извозничьем картузе. Сосет с блюдечка чай.

Я говорю ему:

– Ты где был тогда?

– Я-то? Я в доме сидел.

– В каком доме?

– В школе, в городской то есть.

– Зачем?

– В резерве я был.

– Значит, ты не стрелял?

– Как нет?

– Да ты расскажи.  
Он машет рукой:  
– Да что... Тут скоро шум большой вышел. Потолок пробило.  
– А ты что?  
– Я? Что ж я? Я главное в резерве был. А потом приказ вышел: уходить. Ну, мы видим: дела – хоть закуривай. Подождали малое время – ушли.  
– Куда ж вы ушли?  
– А в нижний этаж ушли. Там ловчее.  
Он говорит неохотно. Я жду.  
– Да, – продолжает он, помолчав. – Была тут одна... со мной солидарная... вроде будто жена.  
– Ну?  
– Ну, ничего... убили ее.  
За окном гаснет день.

*13 марта.*

Елена замужем. Она живет здесь. Я ничего больше не знаю о ней. По утрам, в свободные дни, я брожу по бульвару вокруг ее дома. Пушится иней, хрустит под ногами снег. Я слышу, как медленно бьют на башне часы. Уже 10 часов. Я сажусь на скамью, терпеливо считаю время. Говорю себе: я не встретил ее вчера, я встречу ее сегодня.

Год назад я впервые увидел ее. Весной был проездом в N. и утром ушел в парк, большой и тенистый. Над мокрой землей вставали крепкие дубы, стройные тополя. Было тихо, как в церкви. Даже птицы не пели. Только журчал ручей. Я смотрел в его струи. В брызгах сверкало солнце. Я слушал голос воды. Я поднял глаза. На другом берегу в зеленой сетке ветвей стояла женщина. Она не замечала меня. Но я уже знал: она слышит то, что я слышу.

Это была Елена.

*14 марта.*

Я у себя в комнате. Наверху, надо мной, тихо звенит фортепиано. Шаги тонут в мягком ковре.

Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству. Не хочу знать будущего. Стараюсь забыть о прошедшем. У меня нет родины, нет имени, нет семьи. Я говорю себе:

Un grand sommeil noir  
Tombe sur ma vie,  
Dormez, tout espoir,  
Dormez, toute envie.

Но ведь надежда не умирает. Надежда на что? На «звезду утреннюю»? Я знаю: если мы убили вчера, то убьем и сегодня, неизбежно убьем и завтра. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь». Ну а кровь водой не зальешь и огнем не выжжешь. С нею – в могилу.

Je ne vois plus rien,  
Je perds la m e moire  
Du mal et du bien.  
Ô, la triste histoire!

Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки, и 15 десятин разделенной земли меня не прельщают. Я сказал: я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода? Какая жалкая свобода... И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя крови, для крови?...

Je suis un berceau,  
Qu'une main balance  
Au creux d'un caveau  
Silence, silence...<sup>1</sup>

В двери стучат. Это Эрна.

*17 марта.*

Я не знаю, почему я иду... но знаю, почему идут многие. Генрих убежден, что так нужно. У Федора убили жену. Эрна говорит, что ей стыдно жить. Ваня... Но пусть Ваня скажет сам за себя.

Накануне он возил меня по городу. Я назначил ему свидание в скверном трактире.

Он пришел в высоких сапогах и поддевке. У него теперь борода и волосы острижены в скобку. Он говорит:

– Послушай, думал ты когда-нибудь о Христе?

– О ком? – переспрашиваю я.

– О Христе? О Богочеловеке Христе?... Думал ли ты, как веровать и как жить? Знаешь, у себя на дворе я часто читаю Евангелие, и мне кажется есть только два, всего два пути. Один – все позволено. Понимаешь ли: все. И тогда – Смердяков. Если, конечно, сметь, если на все решиться. Ведь если нет Бога и Христос – человек, то нет и любви, значит, нет ничего... И другой путь – путь Христов ко Христу... Слушай, ведь если любишь, много, по-настоящему любишь, можно тогда убить или нельзя?

Я говорю:

– Убить всегда можно.

– Нет, не всегда. Нет, убить – тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми: нужно крестную муку принять, нужно из любви для любви на все решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви. Иначе – опять Смердяков, то есть путь к Смердякову. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молось: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве ведь не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь... И ведь знаю: мало во мне любви, тяжел мне мой крест.

– Не смейся, – говорит он через минуту, – зачем и над чем смеешься? Я Божьи слова говорю, а ты скажешь: бред. Ведь ты скажешь, ты скажешь: бред?

Я молчу.

– Помнишь, Иоанн в Откровении сказал: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Что же, скажи, страшнее, если смерть убежит от тебя, когда ты будешь звать и искать ее? А ты будешь искать. Как прольешь кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем. У тебя нет закона, кровь для тебя – вода. Но слушай же меня, слушай: будет день, вспомнишь эти слова. Будешь искать конца, не найдешь:

---

<sup>1</sup> Я в черные дни Не жду пробужденья. Надежда, усни. Усните, стремленья! Спускается мгла На взор и на совесть. Ни блага, ни зла, О, грустная повесть! Под чьей-то рукой Я – зыбки качанье В пещере пустой... Молчанье, молчанье! (Пер. с фр. Ф. Сологуба). – Ред.

смерть убежит от тебя. Верую во Христа, верую. Но я не с ним. Недостоин быть с ним, ибо в грязи и в крови. Но Христос в милосердии своем будет со мною.

Я пристально смотрю на него. Я говорю:

– Так не убий. Уйди.

Он бледнеет.

– Как можешь ты это сказать? Как смеешь? Вот душа моя скорбит смертельно. Но я не могу не идти, ибо я люблю. Если крест тяжел – возьми его. Если грех велик – прими его. А Господь пожалеет тебя и простит. И простит, – повторяет он шепотом.

– Ваня, все это вздор. Не думай об этом.

Он молчит.

На улице я забываю его слова.

*19 марта.*

Эрна всхлипывает. Она говорит сквозь слезы:

– Ты меня совсем разлюбил.

Она сидит в моем кресле, закрыв руками лицо. Странно: я никогда раньше не замечал, что у нее такие большие руки.

Я внимательно смотрю на них и говорю:

– Эрна, не плачь.

Она подымает глаза. Нос у нее покраснел, и нижняя губа некрасиво отвисла. Я отворачиваюсь к окну. Она встает и робко трогает меня за рукав:

– Не сердись. Я не буду.

Она часто плачет. Сначала краснеют глаза, затем опухают щеки, наконец, незаметно выкатывается слеза. У нее тихие слезы.

Я беру ее к себе на колени.

– Послушай, Эрна, разве я когда-нибудь говорил, что люблю тебя?

– Нет.

– Разве я тебя обманул? Разве я не сказал, что люблю другую?

Она вздрогнула и не отвечает.

– Говори же.

– Да. Ты сказал.

– Слушай же дальше. Когда мне станет с тобой тяжело, я не солгу тебе, я скажу. Ведь ты мне веришь?

– О да.

– А теперь не плачь. Я ни с кем. Я с тобою.

Я целую ее. Счастливая, она говорит:

– Милый мой, как я люблю тебя.

А я глаз не могу оторвать от ее больших рук.

*21 марта.*

Я не знаю ни слова по-английски. В гостинице, в ресторане, на улице я говорю на ломаном русском языке. Выходят недоразумения.

Вчера я был в театре. Рядом со мной – купец, толстый, красный, с потным лицом. Он сопит и угрюмо дремлет. В антракте поворачивается ко мне:

– Вы какой нации?

Я молчу.

– Я спрашиваю: какой вы нации?

Я, не глядя на него, отвечаю:

– Подданный его величества великобританского короля.

Он переспрашивает:

– Кого?

Я поднимаю голову и говорю:

– Я англичанин.

– Англичанин? Так-с, так-с, так-с... Самой мерзкой нации. Так-с. Которые на японских миноносцах ходили, у Цусимы Андреевский флаг топили, Порт-Артур брали... А теперь, извольте, к нам в Россию пожаловали. Нет, не позволяю я этого.

Собираются любопытные. Я говорю:

– Прошу вас молчать.

Он продолжает:

– В участок его. Может, он опять японский шпион или жулик какой... Англичанин. Знаем мы их, англичан этих... И чего полиция смотрит?

Я щупаю в кармане револьвер.

– Второй раз: прошу вас молчать.

– Молчать? Нет, брат, пойдем в участок. Там разберут. Недозволено, чтобы, значит, шпионы. Нет. Ура! С нами Бог!

Я встаю. Смотрю в упор в его круглые, налитые кровью глаза и говорю очень тихо:

– В последний раз: молчать.

Он пожимает плечами и молча садится.

Я выхожу из театра.

*24 марта.*

Генриху 22 года. Он бывший студент. Еще недавно он ораторствовал на сходках, носил пенсне и длинные волосы. Теперь, как Ваня, он огрубел, похудел и оброс небритой щетиной. Лошадь у него тощая, сбруя рваная, сани подержанные – настоящий «Ванька».

Он везет нас: меня и Эрну. За заставой обернулся и говорит:

– Намедни попа одного возил. На Круглую площадь рядился, пятиалтынный давал. Ну а где она, Круглая площадь? Везу. Крутил я, крутил. Стал наконец поп ругаться: куда везешь, сукин сын? Я, говорит, тебя в полицию представлю. Извозчик, говорит, должен город, как мешок с овсом, знать, а ты, говорит, экзамен небось за целковый сдал. Насилу я его умолил: простите, говорю, батюшка, Христа ради... А экзамена я действительно не держал. Карпуха-босяк за полтинник вместо меня явился.

Эрна почти не слушает. Генрих продолжает с одушевлением:

– Вот тоже на днях барин один с барыней порядились. Старички. Будто из благородных. Выехал я на Долгую, а там трамвай электрический у остановки стоит. Ну, я не глядя: Господи благослови, – через рельсы. Ка-ак барин-то вскочит и давай меня по шее тузить: ты, говорит, негодяй, что же? Задавить нас желаешь? Куда, говорит, прешь, сукин сын? А я и говорю, не извольте, говорю, ваше сиятельство, себя беспокоить, так что трамвай у остановки стоит, проедем. Тут, слышу, барыня по-французски заговорила: Жан, не волнуйся, во-первых, тебе это вредно, а кроме того, и извозчик, говорит, человек. Ей-богу, вот так и сказала: извозчик, мол, человек. А он ей по-русски: сам знаю, что человек, да ведь какая скотина... А она: фи, говорит, Жан, что ты, право, стыдись... Тут он, слышу, за плечо меня тронул: прости, говорит, голубчик, и на чай двугривенный подает... Не иначе: кадеты... Н-но, милая, выручай!..

Генрих стегает свою лошаденку. Эрна незаметно жметя ко мне.

– Ну а вы как, Эрна Яковлевна, привыкли?

Генрих говорит робко. Эрна нехотя отвечает:

– Ничего. Конечно, привыкла.

Направо парк, черный переплет обнаженных ветвей. Налево – белая скатерть поля. Сзади – город. Сияют на солнце церкви.

Генрих примолк. Только сани скрипят.

Приехали. Я сую ему в руку полтинник. Он снимает заиндевелый картуз и долго смотрит нам вслед.

Эрна мне шепчет:

– Можно сегодня прийти к тебе, милый?

*28 марта.*

Губернатор ждет покушения. Вчера ночью он неожиданно переехал в Подгородное. За ним переехали и мы. Ваня, Федор и Генрих следят в одних местах, я брожу в других.

Мы уже много знаем о нем. Знаем его лошадей, его кучера, его карету. Ошибиться нельзя, и я думаю, что мы скоро назначим день. Ваня бросит первый...

*29 марта.*

Приехал Андрей Петрович. Он член комитета. За ним много лет каторги и Сибири – тяжкая жизнь старого деятеля. У него грустные глаза и седая борода клином.

Мы сидим в ресторане. Он застенчиво говорит:

– Вы знаете, Жорж, поднят вопрос о временном прекращении дел. Что вы об этом думаете?

– Человек, – подзываю я полового, – поставь машину из «Корневильских колоколов».

Андрей Петрович опускает глаза:

– Вы не слушаете меня, а вопрос очень важный. Как совместить с этим... парламентскую работу? Или мы ее признаем и идем на выборы в Думу, или нет ничего, и тогда, конечно... Ну, что вы думаете об этом?

– Что думаю? Ничего.

– Вы подумайте. Может быть, придется вас распустить, то есть организацию распустить.

– Что? – переспрашиваю я.

– То есть не распустить, а как бы это сказать? Вы знаете, Жорж, ведь мы понимаем. Мы знаем, как товарищам трудно. Мы ценим... И потом, ведь это только предположение.

У него лимонного цвета лицо, морщинки у глаз. Он, наверное, живет в нищей каморке, где-нибудь на окраине города, сам варит себе на спиртовке чай, бегаёт зимою в осеннем пальто и занят по горло всякими делами. Он «делает» дело...

Я говорю:

– Вот что, Андрей Петрович, вы решайте там как хотите. Это ваше право. Но как бы вы ни решили, мы свое сделаем...

– Что вы? Вы не подчинитесь?

– Нет.

– Послушайте, Жорж...

– Я сказал, Андрей Петрович.

– А партия? – напоминает он.

– А дело? – отвечаю я.

Он вздыхает. Потом протягивает мне руку:

– Я там ничего не скажу. Авось как-нибудь обойдется. Вы не сердитесь?

– Я не сержусь.

– Прощайте, Жорж.

– Прощайте, Андрей Петрович.

Вызвездило. К морозу. Жутко в пустых переулках. Андрей Петрович спешит на вокзал. Бедный старик, бедный взрослый ребенок. Именно вот таких и есть царство небесное.

*30 марта.*

Я опять брожу около дома Елены. Это громадный, серый, тяжелый дом купца Купорова. Как могут жить люди в этой коробке? Как может жить в ней Елена?

Я знаю: глупо мерзнуть на улице, кружить вокруг закрытых дверей, ждать того, чего никогда не будет. Ну если я даже встречу ее? Что изменится? Ничего.

А вот вчера на главной улице у магазина я встретил мужа Елены. Я издали заметил его. Он стоял у окна, спиной ко мне, и разглядывал фотографии. Я подошел и стал рядом с ним. Он высокого роста, белокурый и стройный. Ему лет 25. Офицер.

Он обернулся и сразу узнал меня. В его потемневших глазах я прочел злобу и ревность. Не знаю, что он прочел в моих.

Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает. Он стоит на моей дороге. И еще: когда я думаю о нем, я вспоминаю слова:

Если вошь в твоей рубашке  
Крикнет тебе, что ты блоха, —  
Выйди на улицу  
И убей!

*2 апреля.*

Сегодня тает, бегут ручьи. Лужи сверкают на солнце. Снег размок и за городом пахнет весной – крепкой сыростью леса. Вечерами еще мороз, а в полдень скользко и каплет с крыш.

Прошлой весной я был на юге. Ночи – ни зги, только горит созвездие Ориона. Утром по каменистому берегу я ухожу к морю. В лесу цветет вереск, расцветают белые лилии. Я карабкаюсь на утес. Надо мной раскаленное солнце, внизу – прозрачная зелень воды. Ящерицы скользят, трещат цикады. Я лежу на жарких камнях, слушаю волны. И вдруг – нет меня, нет моря, нет солнца, нет леса, нет весенних цветов. Есть одно громадное тело, одна бесконечная и благословенная жизнь.

А теперь?

Один мой знакомый, бельгийский офицер, рассказывал мне о своей службе в Конго. Он был один, и у него было пятьдесят черных солдат. Его кордон стоял на берегу большой реки, в девственном лесу, где солнце не жжет и бродит желтая лихорадка. По ту сторону жило племя независимых негров со своим царьком и со своими законами. День сменялся ночью, и снова наступал день. И утром, и в полдень, и вечером была все та же мутная река с песчаными берегами, те же ярко-зеленые лианы, те же люди с черным телом и непонятым наречием. Иногда он от скуки брал ружье и старался попасть в курчавую голову между ветвей. А когда черным людям с этого берега случалось поймать кого-нибудь из тех, кто на том, пленника привязывали к столбу. От нечего делать его расстреливали, как мишень для стрельбы. И наоборот: когда кто-нибудь из его людей попадался на том берегу, ему разрубали руки и ноги. Затем клали на ночь в реку так, что торчала одна голова. А наутро рубили голову.

Я спрашиваю: чем белый человек отличается от черных? Чем мы отличаемся от него? Одно из двух: или «не убий», и тогда мы такие же разбойники, как другие. А если «око за око и зуб за зуб», то к чему оправдания? Я так хочу и так делаю. Уж не скрыта ли здесь трусость, боязнь чужого мнения? Боязнь, что иные скажут – убийца, когда теперь говорят – герой? Но на что мне чужое мнение?

Раскольников убил старушонку и сам захлебнулся в ее крови. А Ваня идет, будет счастлив и свят. Будет ли? Он говорит: во имя любви. Да разве есть на свете любовь? Разве Христос воистину воскрес в третий день? Все это слова... Нет, -

Если вошь в твоей рубашке  
Крикнет тебе, что ты блоха, —

Выйди на улицу  
И убей!

*6 апреля.*

Прошла Страстная неделя. Сегодня веселый перезвон: Пасха. Ночью радостный крестный ход, слава Христу. А с утра весь город на гулянье, яблоку негде упасть. Бабы в белых платочках, солдаты, оборванцы, гимназисты. Целуются, шелкают семечки, зубоскалят. На лотках красные яйца, пряники, американские черти, на ленточках разноцветные пузыри. Люди словно пчелы в улье. Гомон и шум.

В детстве говеешь еще на шестой. Пост всю неделю, до причастия ни маковой росинки во рту. На Страстной неистово бьешь поклоны, к плащанице всем телом прильнешь: Господи, прости мне мои прегрешения. У заутрени как в раю: свечи ярко горят, воском пахнет, ризы белые, киот золотой. Стоишь, не вздохнешь – скоро ли домой со святым куличом пойдешь? Дома праздник, великое торжество. Всю святую неделю праздник.

А сегодня мне все чужое. Томит колокольный звон, скучен смех. Уйти бы куда глаза глядят, не вернуться.

– Барин, купите счастье, – сует мне девчонка конверт.

Девчонка босоногая, рваная, какая-то вся непраздничная. На клочке серой бумаги напечатано предсказание:

«Если тебя преследуют неудачи, не теряй надежды и не предавайся отчаянию. Труднейшее преодолеешь и повернешь наконец к себе колесо фортуны. Твое предприятие окончится полным успехом, которого даже не смеешь ожидать».

Вот и яичко на красный день.

*7 апреля.*

Ваня живет на постоялом дворе, в артели. Он спит со всеми вповалку на нарах. Ест из котла. Сам чистит лошадь, моет пролетку. Днем – на улице, на работе. Он не жалуется, доволен. Сегодня он в новой поддевке, волосы смазаны маслом, сапоги у него со скрипом.

Он говорит:

– Вот и Пасха пришла. Хорошо... Жорж, ведь Христос-то воскрес.

– Ну так что ж, что воскрес?

– Эх ты... Радости в тебе нет. Мира ты не приемлешь.

– А ты приемлешь?

– Я? Я – дело другое. Мне тебя, Жоржик, жалко.

– Жалко?

– Ну да. Никого ты не любишь. Даже себя. Знаешь, есть у нас на дворе извозчик Тихон. Черный такой мужик, курчавый. Зол как черт. Был он когда-то богат, потом погорел: подожгли. Простить до сих пор не может. Всех проклиняет: Бога, студентов, купцов, даже детей. И тех ненавидит. Сукины дети все, говорит, и все подлецы. Кровь христианскую пьют, а Бог с небес радуется... Давеча прихожу из чайной на двор, гляжу: посреди двора Тихон стоит. Ноги расставил, рукава засучил, кулачищи у него громадные, – и лошаденку свою вожжей по глазам хлещет. Лошаденка-то хилая, еле дышит, морду в гору дерет. А он ее по глазам, по глазам. Стерва, хрипит, сволочь проклятая, я тебе покажу, я тебя научу... За что, говорю, Тихон, бьешь животину? Молчи, кричит, хлюст паршивый... И давай хлестать еще свирепее. На дворе грязь, вонь, конский навоз, а наши повывлезали, смеются: Тихон, мол, балует... Так и ты, Жоржик, всех бы ты вожжей по глазам... Эх ты, бедняга.

Он скусывает кусочек сахара, долго пьет чай, потом говорит:

– Не сердись. И не смейся. Вот я думаю. Знаешь, о чем? Ведь мы нищие духом. Чем, милый, живем? Ведь голой ненавистью живем. Любить-то мы не умеем. Душим, режем, жжем. И нас душат, вешают, жгут. Во имя чего? Ты скажи. Нет, ты скажи.

Я пожимаю плечами:

– Спроси Генриха, Ваня.

– Генриха? Генрих верит, что люди будут свободны и сыты. Но ведь это же все для Марфы, а что для Марии?\* За свободу можно, конечно, жизнь отдать. Что за свободу? За слезу одну можно. Я молюсь: пусть не будет рабов, пусть не будет голодных. Но ведь это же, Жоржик, не все. Мы знаем, мир неправдой живет. Где же правда, скажи?

– Что есть истина? Да?

– Да, что есть истина. А помнишь: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа Моего».

– Ваня, Христос сказал: не убий.

– Знаю. Ты о крови пока молчи. Ты вот что скажи: Европа два великих слова миру сказала, два великих слова своею мукой запечатлела. Первое слово: свобода, второе слово: социализм. Ну а мы что миру сказали? Кровь лилась за свободу. Кто ей верит теперь? Кровь лилась за социализм. Что же, по-твоему, социализм – рай на земле? Ну а за любовь, во имя любви кто-нибудь на костре горел? Разве кто-нибудь из нас смел сказать: мало еще, чтобы люди были свободны, мало еще, чтобы с голоду дети не умирали, чтобы матери слезами не обливались. Нужно еще, нужно, чтобы люди друг друга любили, чтобы Бог был с ними и в них. Про Богато, про любовь забыли. А ведь в Марфе одна половина правды, другая – в Марии. Где же наша Мария? Слушай, я верю: вот идет дело крестьянское, христианское, Христово. Во имя Бога, во имя любви. И будут люди свободны и сыты и в любви будут жить. Верю: наш народ, народ Божий, в нем любовь, с ним Христос. Наше слово – воскресшее слово: ей, гряди, Господи!.. Малoverы мы и слабы, как дети, мы поэтому подымаем меч. Не от силы своей подымаем, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, ибо будут сильны. Но раньше, чем придут, мы погибнем. А внуки детей будут Бога любить, в Боге жить, Христу радоваться. Мир им откроется вновь, и узрят в нем то, чего мы не видим. А сегодня, Жоржик, Христос воскрес, святая Пасха. Ну так в этот день забудем обиды, перестанем хлестать по глазам...

Он задумчиво умолкает.

– Что ты, Ваня? О чем?

– Да вот, слушай: цепь неразрывна. Нет мне выхода, нет исхода. Иду убивать, а сам в Слово верю, поклоняюсь Христу. Больно мне, больно...

В трактире пьяный гул. Люди справляют праздник. Ваня склонился над скатертью, ждет. Что я могу ему дать? Разве вожжей по глазам?...

*8 апреля.*

Я опять с Ваней. Он говорит:

– Знаешь, когда я Христа узнал? в первый раз Бога увидел? Был я в Сибири, в ссылке. Пошел я раз на охоту. В Обской губе дело было. Обь-то у океана – море. Небо низкое, серое, река тоже серая, серые гребни волн, а берегов не видать, будто вовсе их нет. Высадили меня из лодки на островок. Сговорились: к вечеру, мол, за тобой приедем. Ну, брожу я, уток стреляю. Кругом болото, березки гнилые, кочки зеленые, мох. Шел я, шел, от края совсем отбился. Утку одну пристрелил, запала, найти не могу. Ищу между кочек. А тут и вечер упал, потянуло туманом с реки, стало темно. Вот решил я к берегу добираться. Кое-как по ветру взял направление, иду. Шагнул: чувствую, ноги вязнут. Я было на кочку хотел, нет, – тону в болотной трясине. Знаешь, медленно так тону, на полвершочка в минуту. Сиверко, дождь пошел. Дернул я ногу, не выдернул, хуже: еще на вершок увяз. Поднял я тут ружье, стал с отчаянья в воздух стрелять.

Авось услышат, авось помогут, придут. Нет, тишина, только, слышу, ветер свистит. Вот стою я так, почти по колено в тине. Думаю: в болоте завязну, пузыри надо мною пойдут, как прежде одни зеленые кочки. Противно мне стало, до слез. Рванул опять ногу – еще того хуже. Оледенел я весь, как осина дрожу: вот он какой конец, на краю света, как муха... И знаешь, в сердце как-то все опустело. Все – все равно: погибать. Закусил я губы до крови, из последних сил рванул в третий раз. Чувствую – выдернул ногу. Тут вдруг радостно стало. Гляжу, бродень в болоте увяз, нога вся в крови. Кое-как я на кочку одною ногою ступил, ружьем оперся, другую ногу тяну. Ну, как стал обеими ногами, боюсь шелохнуться. Думаю: шаг ступлю – значит, обратно в трясины. Так всю ночь до рассвета на одном месте и простоял, и сеял дождь, и небо было темное, и ветер выл, в эту-то ночь я и понял, знаешь, всем сердцем, до конца понял: Бог над нами и с нами. И не страшно мне было, а радостно, с сердца камень упал. А утром товарищи подошли, подобрали меня.

– Перед смертью многие Бога видят. Это от страха, Ваня.

– От страха? Что ж, может быть. Только что же ты думаешь? Бог тебе здесь, в грязном трактире, явиться может? Перед смертью душа напрягается, пределы видны. Вот почему и Бога люди чаще всего перед смертью видят. Увидел и я.

– Слушай дальше, – продолжает он, помолчав, – великое счастье Бога увидеть. Пока не знаешь Его, не думаешь о Нем вовсе. Обо всем думаешь, а о Нем нет. Сверхчеловек вот иным мерещится. Ты подумай только: сверхчеловек. И ведь верят: философский камень нашли, загадку жизни. А по-моему, смердяковщина это. Я, мол, ближних любить не могу, а люблю зато дальних. Как же дальних можешь любить, если нет в тебе любви к тому, что кругом? Знаешь, легко умереть за других, смерть свою людям отдать. Жизнь – вот отдать труднее. Изю дня в день, из минуты в минуту. Жить любовью, Божьей любовью к людям, ко всему, что живет. Забывать о себе, не для себя строить жизнь, не для дальних каких-то. Ожесточились мы, озверели. Эх, милый, горько смотреть: мечутся люди, ищут, верят в китайских божков, в деревянных чурбанов, а в Бога верить не могут, а Христа любить не хотят. Яд в нас с детства горит. Вот Генрих не скажет: цветок; говорит – семьи такой-то, вида такого-то, лепестки такие-то, венчик такой-то. За этим сором он цветка не увидел. Так и Бога за сором не видим. Все по арифметике да по разуму. А вот там, когда я под дождем на болотной кочке стоял, смерти своей дождался, там я понял: кроме разума есть еще что-то, да шоры у нас на глазах, да не видим, не знаем. Ты, Жоржик, чего смеешься?

– Да ведь ты словно поп приходской.

– Ну пусть поп. А ты мне скажи, – можно жить без любви?

– Конечно, можно.

– Как же? Как?

– Да плевать на весь мир.

– Шутишь, Жорж?

– Нет. Не шучу.

– Бедный, Жоржик, ты бедный...

Я прощаюсь с ним. Я опять забываю его слова.

*10 апреля.*

Сегодня видел губернатора. Высокий, благообразный старик, в очках, с подстриженными усами.

На площади, вчера белой, сегодня мокрые камни. Лед стаял, и река ярко блестит на солнце. Чирикают воробьи.

У подъезда карета. Я сразу узнал ее: черные кони, желтые спицы колес. Я пересек площадь и пошел к дому. В это время дверь распахнулась, городской отдал честь. С лестницы медленно спустился губернатор. Я прирос к мостовой. Не отрываясь смотрел на него. Он под-

нял голову и взглянул на меня. Я снял шляпу. Я низко опустил ее перед ним. Он улыбнулся и приложил руку к фуражке. Он поклонился мне.

В эту минуту я ненавидел его.

Я побрел в сад. Ноги вязли в размытой глине дорожек. В березах шумно летали галки.

*12 апреля.*

В свободные часы я ухожу в библиотеку. В тихом зале стриженные курсистки, бородатые студенты. Я резко отличаюсь от них своим бритым лицом и высоким воротником.

Со вниманием читаю древних. У них не было совести, они не искали правды. Они попросту жили. Как трава растет, как птицы поют. Может быть, в этой святой простоте – ключ к приятию мира.

Афина говорит Одиссею:

Буду стоять за тебя и теперь я, не будешь оставлен

Мной и тогда, как приступим мы к делу. И думаю, скоро

Лоно земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом

Многих из тех, незаконных, твое достоянье губящих.

Какому богу мне молиться, чтобы он не оставил меня? Где моя защита и кто мой покровитель? Я один. И если нет у меня защиты, я сам себе покровитель. И если нет у меня бога, я сам себе бог. Ваня говорит: «Если все позволено, тогда – Смердяков». А чем Смердяков хуже других? И почему нужно бояться Смердякова?

Лоно земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом...

Пусть обрызжется. Я ничего против этого не имею.

*13 апреля.*

Эрна мне говорит:

– Мне кажется, я жила только для того, чтобы встретить тебя. Ты грезился мне во сне. Я о тебе молилась.

– Эрна, а наше дело?

– Мы вместе умрем... Слушай, милый, когда я с тобой – мне кажется, что я маленькая девочка, еще ребенок. Я знаю: я ничего не могу дать тебе. Но у меня есть любовь. Возьми же ее.

И она плачет.

– Эрна, не плачь.

– Я от радости... Видишь, я не плачу уже. Знаешь, я хотела тебе сказать... Генрих...

– Что Генрих?

– Ты только не сердись... Генрих мне вчера сказал, что любит меня.

– Ну?

– Ну, я же не люблю его. Я люблю только тебя. Ты не ревнуешь, милый? – шепчет она мне на ухо.

– Ревную? Я?

– Ты не ревнуй. Я не люблю его вовсе. Но он такой несчастный, и мне так больно было, когда он сказал... И еще: мне казалось, что я не должна его слушать, что это измена тебе.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.